



*Айдар  
Сахібзадинов*

**два  
рассказа**

## Дочь

**Д**амирыч нашёл свою Рушану через пять лет, когда она уже поступила в школу. До этого девочка жила то у тёток в городе, то в деревне у бабки, куда ему был путь заказан: не ладил с тещей... Да и прежде чем ехать туда, один приезжий осокинец посоветовал ему выпилить из фанеры лосиные рога... И часто представлял себя Дамирыч на главной улице Осоки – бредущего в пыли вместе с блеющим стадом, а из окон кажут сельчане пальцами: глядите, Любкин козёл!

В деревню его не тянуло...

А Люба тогда, прожив у матери год, тайно вернулась в город и тщательно, с каким-то мстительным чувством до сих пор скрывала от него дочь.

Дамирыч заочно подписал присланную бумагу на алименты и развод. И вот через несколько лет вернулся – тощей и шароглазый, в мешковатом ко-

стюме такой фабричной новизны, что от него несло типографской краской. Когда появлялся в дверном глазке, коротко стриженный, бедово подвижный, и нервно топтался, в новеньких, будто пластмассовых, полуботинках, мял руки и вскидывал со вздохом кадыкастую голову, – родные Любы или смолкали за дверью, или, по наущению Любы, острого языка которой побаивались, на вопрос о дочери называли ему ложные адреса. Алименты же Люба получала по адресу, где не жила вовсе. А в горсправке Дамирычу отвечали, что Любовь Хабибулахметова прописана в его собственном доме, – и от этой дурацкой вести становилось как-то тепло и грустно в одичалой душе, будто тянул стакан вина в одиночку...

Дамирыч начинал поиски внезапно, в порыве острой тоски. Иногда во хмелю

видел сквозь слёзы, как бежит к нему с радужной высоты ясноглазая девочка со взбитым пушком волос. Он знал, что Рушана выросла, но плакал по той, по маленькой, бессмысленно преданной.

И вот удача. Неожиданно узнал, что Люба работает в горбольнице буфетчицей, и сразу поехал туда.

Завпроизводством, тучная, пучеглазая женщина, одиноко обедавшая в собственном кабинете, остановила на нём судачьи глаза, преодолевая одышку... Она потрудилась сказать ему, что буфетчицы уже третий день нет на работе. Звонила на квартиру – короткие гудки. Дала номер её телефона.

Дамирыч позвонил из автомата. На конце провода отозвался глухой прокуренный бас пожилого человека, и по тону стало понятно, что повезло: этот лгать не будет. Но тотчас был разочарован.

– Рад бы помочь, – сказал старик. – Но Рушана тут не живёт.

– Как?.. А Люба? Люба!

– Люба – да. Есть такая...

– Мне нужна её дочь. Моя дочь. Рушана...

– А-а! Наверное, Алёна?..

Это был новый свёкор Любы. Не задумываясь, он выдал Дамирычу свои координаты и был не против того, что тот приедет к нему на квартиру повидаться с девочкой, которая пока была ещё в школе.

Пожилой бас – седовласый высокий старикан, в пижаме и шерстяных носках с большими дырами, доцеживал на кухне банку пива с копчёной ставридой. Рядом с ним крутилась шустрая, голубоглазая девочка двух-трёх годков, лицом – вылитая Люба. Она подходила к Хабибулахметову и, задирая голову, тащила его за штанину:

– Мама на работу шла... – Букву «у» она теряла в широкой улыбке, а Алёнка у нас есть, она в школе. Троечку вчера получила...

Девочка ябедничала, потягивая сверху руками соломенный пук волос.

– Настя... – ласково кивал дед.

Настя была зануда, но не раздра-

жала. Она даже была приятна своей детской наивностью, удивительной схожестью с Любой. И он подумал ещё, что эту девочку здесь любят, наверное, больше, чем неродную Алёну.

Потом дед пригласил гостя курить в ванную.

– А всё-таки ты правильно сделал, что с Любкой разошёлся, – вдруг сказал он.

– А что?

– Да не болеет она, Любка!.. – разразился дед. – Дома не ночевала, утром пьяная пришла. Вот Женька и засветил ей глаз. Оба. В переносицу попал. Сейчас в больницу пошла, больничный делает, проныра. Недаром продавщицей работала. Вот целый месяц носки прошу починить, глаза у меня плохие, а ей до фени. Дурак Женька! Такая девчушка у него была!.. Он тоже выпить любит. Сейчас на ТЭЦ устроился этим... как его?.. ну, врежет по кнопке – вся дребедень эта из вагона в топку падает. Таксиста бросил. Дурак!.. Я бы вот сам починил, но иглы-то не вижу...

Казалось, обида из-за этих носков терзала деда больше всего на свете. Он был вдов, и когда Дамирыч входил в квартиру, заметил в смежной комнате на спинке стула широкий пиджак старика с двумя орденами боевого Красного Знамени.

Дочь не возвращалась. И Хабибулахметов, чтобы унять волнение перед встречей, решил пройтись до школы. По дороге внимательно всматривался в лица встречаемых детей...

В школе была перемена: шум, беготня. Расположившись на полу, между брошенных шубок и ранцев, группа мальчиков обувалась в лыжные ботинки. У них Дамирыч выяснил, что первых классов в школе – четыре, находятся они на втором этаже. Он пошёл к директору. Девушка-секретарь подала ему список первоклашек. Дочь в нём не значилась... На всякий случай проверил вторые классы – нет. С разрешения девушки позвонил деду.

– Как нет? Там! – басил дед в трубку. – Школа около бани, правильно? Фами-

лия? Хабу... Хабу... Твоя фамилия-то! Ищи!

Пока не поздно, Дамирыч решил идти к подъезду и ждать девочку там: хотелось встретить её одну. По пути забежал в магазин, купил две шоколадки. Минут двадцать стоял под аркой углового дома. Когда озябли ноги, хотел погреться в подъезде... И вдруг увидел Любу. Узнал по походке: шла, склонив голову, держась рукой за ворот плащпальто, думала о чём-то печальном. Показываться ей на глаза было рискованно, но чувства взяли верх: он окликнул её. Люба остановилась, не отнимая руки от горла, смотрела в его сторону мутновато-напряжённым взглядом, близоруко прищурилась.

– Это я, не бойся... – подошёл Дамирыч, глядя на её туго стянутый в талии пояс.

– А чего мне бояться? – узнала она его. – Зачем пришёл? Нечего тут делать...

Люба была недовольна: на белых щеках из-под пудры выступил румянец, оттенив два очень аккуратно и плотно приклеенных, будто втёртых, пластыря под глазами.

– А я к другу пришёл! – Дамирыч неопределённо махнул рукой в сторону дома, решив врать как можно беззаботнее. – Вчера веселились здесь, перчатки оставил. А ты разве здесь живёшь?

– Как зовут друга?..

– Друга? Вовка. С первого этажа-то...

– Не знаю нижних... – призналась Люба. Но всё же в глазах её мелькнул подозрительный огонёк, она быстро прошла в подъезд. Минут через пять вышла. Молча встала рядом, приминая носком замшевого сапога снег; из голенищ виднелись узорчатые концы модных гольф-самовязок, уплотняющих без того упругие икры.

– Люба, тебе что, делать нечего? Пошла бы занялась делами по хозяйству, – Дамирыч начал паясничать, зная наверняка, что она никуда отсюда не уйдёт, а будет с ним дожидаться дочери. – Или ты опять в меня влюбилась...

– Слушай, хватит!.. – сказала она. – Уходи. Нечего ребёнка травмировать. У него отец есть, ясно? Не нужен ты ей. – Она хотела явить ненависть, но в горле застрял ком обиды.

«Ах, так! Как деньги – так днём с огнём ищите, а тут – не нужен! И вообще, нужен ли отец, это у ребёнка ещё надо спросить!..» – с этими словами Дамирыч хотел вспылить, но опомнился. Встреча и без того получилась глупой, враждебной. А ведь он желал сейчас Любе только добра, был благодарен ей за эту встречу, ведь любили друг друга когда-то без ума... Но в то же время, видя её упорство, вспомнив, как его нагло водили за нос, решил стоять до конца, как бы это не выглядело: уж эту возможность увидеть родную дочь, извините, он не упустит!

– Если хочешь знать, – сказал он, – я имею право по закону раз в неделю забирать ребёнка на прогулку. Даже обязан принимать участие в его воспитании. Отцовства меня ещё никто не лишал.

Люба молчала, смежив крашенные ресницы, и вдруг пошла мимо него прочь. Он, хорошо помня её привычку – молча делать своё дело, пошёл следом.

– Ты куда?

– В милицию. Пусть тебя заберут.

– Да тебя самую первую заберут. За оговор! – пытался шутить он, петляя по тропке.

– Не меня, а тебя, – уверенно отвечала Люба, – хотя бы за то, что потратила на тебя время, оштрафуют. А я – женщина, мать, мне вера...

Она зашла в незнакомый подъезд. Тотчас вышла и направилась в середину двора, где стояли в низинке хоккейная коробка и сколоченная из досок горка для катания. Там играли дети.

Люба остановилась, взглядываясь. И, подождав, когда он приблизится, сказала вдруг умиротворённо:

– Вон она, на горке. Смотри свою дочь, – и крикнула: – Алёна!..

От группы детей отделилась девоч-



Рис.  
Искандера  
Галлямова

ка в красном пальто и с ранцем за спиной.

– Мам!.. – спешила она оправдаться, подбегая с виноватым видом. – Я только на полчаса...

Люба ничего не ответила. Бывшая семья гуськом направилась в сторону дома по узкой дорожке, утопанной в снегу. Дамирыч шёл последним.

– Люб, ну ты скажи ей...

– Что? – лукавила Люба.

– Ну, кто я ей.

– Алёна, – сказала мать, и Дамирыч сзади почувствовал, что она улыбается, – ты Адельку помнишь?..

– Слыхала, – пропищала девочка. – Это который пьяница и лопух?

Они остановились на площадке.

Молчали. Отец подал девочке шоколадки. Та, глянув на мать, приняла.

Нет, не о такой встрече мечтал Дамирыч в течение нескольких лет! Не узнавал и себя: побоялся обнять, поднять на руки родную дочь. Неужели это была она? Та самая Рушанка, озорная, ясноглазая пышка, бесстрашно падающая в визгливом смехе из рук матери в его руки?.. И сейчас, глядя на эту нескладную, веснушчатую девчущку, в некрасивом пальто, купленном на вырост, которая посматривала на него из-под косой чёлки как на чужого, чуть сощурившись в невеселой улыбке с рядом широких передних зубов, — он с болью вспоминал своё грустное детство. Узнавал в ней себя, неуклюжего, мнительного и какого-то несчастного мальчика, которого в школе дразнили Хабимулом-абстулбеем. Последние годы Аделя прошли трудно и серо, с одной лишь яркой мечтой о дочери. И сейчас это внезапное разочарование, эту боль не хотелось пускать глубоко в душу. Ценой горьких потерь было выработано в душе устойчивое противоядие от всяких стрессов и бед, искалечивших его молодость. И вдруг он поймал себя на том, что среди этих двух людей он всё же больше тянется к бывшей жене, когда-то жестоко предавшей его, и всё-таки доброй, красивой и весёлой женщине, с которой сейчас было намного проще.

Потом он говорил с Любой о пустяках и общих знакомых. И между тем думал о том, что вот какая это странная штука — жизнь. Два человека, которые когда-то не могли жить друг без друга и стремились к встрече, — теперь уже несколько лет живут поврозь, как чужие, враждуют из-за ребёнка. Он знал, что подобное творится во многих семьях. Малышам с пелёнок наговаривают небылицы о нехороших отцах, пытаются воспитать в детях успокоительную для себя нелюбовь к родителю. Дети вырастают, в большинстве находят отцов, сравнивают запавшие в душу характеристики с живым, уже немолодым человеком, что часто не совпадают, — и

видят, что их обокрали самые близкие люди. Умышленно, в родительском эгоизме привили им вирус ущемлённости, которая с годами превращается в хроническую грусть при воспоминаниях о безотцовом детстве.

Хабибулахметовы расставались.

— Не приезжай. У нас свой папа есть, — заученно говорила девочка, поглядывая на мать. — Не приезжай...

Дамирыч ехал домой в холодном, дребезжащем троллейбусе, успокаивая себя в конечном итоге тем, что увидел родную дочь. Он вспомнил, что она ни разу не назвала его отцом, и сам он не пытался хоть как-то внушить ей это. Со временем ребёнок даст всему имена, думал он. А пока его дело — платить хорошие алименты и не забывать о праздниках, которые ждут и любят дети.

Однако через неделю он не выдержал, набрал номер телефона.

— Не звони! Папка ругается. Нельзя!.. — услышал он тонкий голос, утверждающий старый приговор, и долгие, как тоска, гудки... И всё же однажды они разговорились. Как понял Аделя, дочь была в квартире одна. Он расспрашивал о школе, она подробно отвечала, и всё говорила, что мечтает уехать в деревню к бабушке, где провела почти всё детство.

Ко дню рождения Дамирыч выслал девочке два красивых платья, заказанных в Москве. Сам не появлялся: боялся новых разочарований; и на самом деле ему казалось, что встречи выбьют девочку из привычной колеи. А под Новый год отправил ей в конверте билет на детский спектакль в оперном театре, приложив пять рублей на мороженое и записку, написанную крупными печатными буквами. А через неделю после спектакля позвонил.

— Я не ходила... — тянула девочка в трубку. — Никто меня не отвёз. Так жалко!.. И билет целых рубль восемьдесят стоит... Пять рублей у меня взяли, сказали: в получку отдадут. Не надо, не высылай, у меня всё равно ключа от почтового ящика нет. А ты один живёшь? А когда женишься?.. А я хочу, чтобы

дядя Женя женился. Всегда ругается. И пьёт, и пьёт...

– Бьёт? – не расслышал Дамирыч.

– Н-нет... А Настя про меня всё ябедничает. Я в деревню хочу, я бабушку больше всех люблю! А сколько до лета осталось? Посчитай... Ой, много!..

– Скажи мне, дочь, только честно: дядя Женя тебя обижает?

– Н-нет... Ну, не сильно... Вчера его на диван стошнило, где я сплю... Приезжай!..

Дамирыча лихорадило. В голове проносились решения: встреча, удар в

нахальную образину, – но опрометчивые он тотчас отбрасывал.

– Слушай, доченька!.. – кричал он в трубку. – Никому не говори о нашем разговоре! Даже маме не говори. А бабушку люби. Люби, кого хочешь любить! И не горюй. Всё зависит от тебя. От тебя, слышишь? На днях я приеду и мы с тобой обо всём поговорим. Ты всё мне расскажешь. Хорошо?..

– Хорошо...

Дамирыч как никогда аккуратно и твёрдо установил трубку на рычаги

# Костры

*Упаси, Господи, от старческого  
маразма и назидательности.*

Н. Гумилёв

## 1

**И** всё же они были милей, наши девушки. Нынче гламурная гостья отличается пониманием жестов холостяка – раздеться и лечь. Кружевное бельё – признак смекалки. Не то, что в былые годы, когда на комсомолке обнаруживалась пара ужаснувшихся рейтуз, одетых лишь для тепла. Или пропитанная честолюбивой испариной молитва в глубине лифчика – свёрточек, прилипший к коже, да ещё страх, цепкость пальцев, судорожность движений, далеко не голливудских.

Оно как-то не манит, когда бельё красивей тела, не несёт в себе загадку чужого быта и мирка. И холодит душу от вида ледяных кружев, будто они одеты на манекены с январских витрин. Девичьи таинства сквозят в прозрачных узорах, как охлаждённое мясо птицы. Не вскрикнут бережёным жаром, не

огрызнутся алым рубчиком на коже от тугой резинки...

Ныне девицы выходят на подиумы – мосластые, злые, идут, вскидываясь, как кощейки на верёвках. Развернутся и глянут, будто хотят убить. А то, наоборот, на телеэкране – лежат полуголые в позе жаб, в лживой страсти потеют глазами – выманивают у подростка денежку: позвони!.. И веришь Чехову, что вместо лёгких у них жабры.

А может, ты ошибался всю жизнь? И женщины вовсе существа не из другого измерения, а те же особи, только самки, с мелкими и недалёковидными воззрениями, мстительные и алчные? Мечтающие о денежном мешке или похотливом орангутане? Третьим вообще мужчина не нужен, и в ласках они не то что холодны, – они давно уже замужем – с двенадцати лет, но мужа их – всевозможные гномы, разбойники или артисты, которые так романтично насилу-

ют их в грёзах, привязывая к деревьям, к колесу телеги...

Однажды ты обнаружил себя обкраденным. Любя, жаждая и получая вознаграждение, прежде ты думал, что только тебе доступно это чудо, вручено глгчее счастье, что люди об этом не догадываются. Вот они спорят и ругаются за стеной, считают мелочь за окном, покупают газеты, едут на работу... А ты испытываешь только страх, что они вот-вот опомнятся, ужаснутся твоему эгоизму, вернуться и отберут твоё счастье.

Соитие перестало быть сакральной тайной. Теперь твою женщину раздели и выставили напоказ. Её насилуют и заставляют перед камерой делать невообразимое. И ты всё это терпишь, беспомощный, жалкий, придавленный грудой цепей новой свободы.

Новые названья заменили то ёмкое, содержательное, сдирающее все покрывала, как откровения Теофилия Готье, – слово. Его и произнести-то было нельзя: так могущественно табу на него! Это слово намолено, как языческая скрижаль, усилено стыдом предков, ужасом отроковиц, тайным зверством юношей... Оно до того пронзительно и постыдно!.. Этого слова порой боится мужлан, но может выкрикнуть стыдливая женщина, – в забытьи, в угаре, первобытном, пещерном, где оно, очевидно, в свете костра и родилось... И теперь какая-нибудь буфетчица с телеэкрана учит тебя жить, пытается протолкнуть тебе по дешёвке отнятый у тебя же сокровенный товар. И легко называет это слово «сексом», будто это семечки.

Куда всё делось? Где этот взгляд, дрогнувший и ужаснувшийся тому, чего от неё хотят – что в ней вызывает страх, видение карающего костра, щипцов инквизиции? Где воображаемая линия ноги, скрытый крепом юбки бесстыдный изгиб бедра?

Или мы стали как дикое африканское племя, где у женщины обнажена висячая грудь, столь же эротичная, как её пятка?

Где тайная сладость поцелуя?..

У метро девица жуёт жвачку и смотрит от скуки, выдувая шары, как другая также жуёт и также смачно выдувает пузыри губа к губе с одурманенным наркотой партнёром.

## 2

Ещё в памяти жертвенные костры. В детстве в библиотеке деревни Именково ты случайно наткнулся на книгу «Спартак», с толстой обложкой и удивительными картинками, – книгу, чудом сохранившуюся в татарской деревне, потому что в русскоязычной её давно бы украли. Читал запоем, сдерживая восторг, останавливался и заново пробежал страницы о поединках на аренах амфитеатров, о сражениях с римскими легионами.

Ты был восхищён гладиаторами, их мощью, храбростью и красотой. И рыдал, рыдал громко в саду над возгласами Крикса, погибающего в засаде: «О, Спартак! Ты не можешь мне помочь!»

Ночью с Криксом и Спартаком ты мылся в тесной бане, они обмахивали тебя пушистым берёзовым веником, легко передавая из рук в руки, а после вынесли и усадили в предбаннике.

Ещё, когда босые, ты и Спартак, шли к Криксу, сзади ты любовался фигурой дяди в узких плавках, будто в набедренной повязке. Его мышцы, освещённые полумесяцем, выступали круто, бугристо, будто лужённые лунным припоем доспехи. Он нёс пудовые плечи, чуть вывернув их вперёд и, склонив русский ёжик, неторопливо, будто шёл по стеклу, сокращал свитки буйволиных мышц на ляжках. В предбаннике гладиаторы пили чай и тихо беседовали, ты по очереди щупал их равнодушные бицепсы. И удивлялся детским умом, как угораздило их, победителей сабантуев, родиться здесь на одном берегу, в одном дворе. Нежная соседская дружба отличала их. Позже, изучая историю, ты всегда думал о них, что именно такие угланы в схватке с несметными полками не сдали Казань, свою веру и

вековые обычаи, – всё унесли с собою в леса и сохранили до наших дней.

Спартак был копия Кирка Дугласа, сыгравшего предводителя восставших гладиаторов: светлые глаза и русый ёжик, у него даже кожа была как у артиста – белая, не принимающая загара. Крикс же был ниже ростом, но шире в плечах, на грудь можно ставить рюмку с вином – не упадёт. И если уж брать для сравнения образы знаменитых артистов, Крикс напоминал Алена Делона – такой же синеглазый, бледнолицый, с чёрными волосами...

В то лето между двумя деревнями произошла драка. Парни из соседних Черпов на мосту избили двоих именьковских. Те бросили клич и пошли, отроки с кирпичами и дреколем сзади. Черповские собрались и грозно скрылись в ночи: невесть откуда жди удара.

Во тьме шли полем, быстро и целеустремлённо. Сзади, не помня себя от героизма и страха, бежали мальчишки, спотыкаясь о кочки, с размаху пластались, отшибая оземь ладони. Вот и Черпы. Тревожно подрагивает свет перед клубом. Стрекот сверчков. Спартак со своим ёжиком, влитый в новый костюм, был изящен, он шёл с дамой под руку в клуб – в стан врага: в случае нападения принять бой и оттуда из клуба, свистнуть. «В клуб, один? Ведь там полно народу! А если затопчут?..» Нет. Отшибая кулаки кулаками – свистнет: завернёт стальную губу и рывком лишь приопустит грудь...

В клубе оказались только женщины и подростки...

Другая группа именьковских вояк ушла искать неприятеля к речке. И возле церкви нарвалась на град камней. С колокольни, с крыши полетели заготовленные кирпичи. Толпа рассыпалась, появились раненые. В темноте, хоть глаз выколи, мальчишки с яростью выдирали из земли снаряды и подносили взрослым. Бульжник с шумом человеческого рывка вылетал из-за плеча, как из катапульты, и, вращаясь, будто комета, уносился в сторону осаждённых. И в темноте, где жестью

мерцала крыша, грохотало, будто катился по небу гром.

Рукопашная не состоялась. Но случился конфуз. Кто-то крикнул: «Черповские пошли по домам, собирают мужиков. Выйдут матёрые мужики!» И пацанё в ужасе кинулось бежать! Не видя дороги, через хлещущий в лицо бурьян, кочки и невидимые ямы, ломающие позвонок. Ужас поджаривал пятки. (Так проигрывались великие сражения.) Добавили страха два яростных глаза появившегося за спиной трактора. «Это они! Догоняют!..» Но оказалось, что трактор – свой. Погрузились в кузов, помчались. И стыдно и спокойно стало, когда увидели возле клуба мирно стоящих Спартака и Крикса. Какой-то парень, одетый по моде, с бляхой на низком бедре клёшей, в широкоплечей рубахе, увещевал Спартака и Крикса: «Бросьте, ребята! Что вы с ними не поделили? Набрали вина, выпили и мир!..» Сзади него мой троюродный брательник, ещё юнец, держал в руках ствол молодой берёзы. «Огреть?» – спросил он, намекая на черепушку увещевающего миротворца. Крикс чуть повёл головой: нет. Не понимая чужого языка, парень и не заметил, что ему грозило, всё продолжал уговаривать своим хмельным, впрочем, приятным юношеским баском.

– Дай пять! Меня зовут Женя...

Руку ему не подали.

Так и ушли: черповские с церкви слезать не собирались.

С тех пор прошло больше сорока лет. Мир изменился.

Спартак состарился и спился. Страшно отощавший, с красной, будто опалённой кожей лица, он шагал впереди в синей спецовке с короткими штанцами, отчего был похож на мальчишку. У него портилось зрение от одеколона, который он употреблял.

Боже, как меняется плоть! Кто поверит, что этот немощный муж когда-то был гладиатором, гордостью и защитой деревни?! Кто поверит, что где-то из-за какой-то облезлой старухи сохли парни в пол-околотка. А ведь сохли!



Говорят, чуда нет. Есть чудо. Время.  
– Не пей ты этот одеколон!.. Ослепнешь!

– Почему? Этот специально для питья делают, – он вынул из кармана флакон с остатками зеленоватой жидкости. – Смотри, какое горлышко большое. Это чтобы наливать было удобней.

– Пойдём, Самат абый, я куплю тебе водки. Хорошей водки! А, дядя?!

Слово «дядя» ты произнёс с чувством.

– Какой дядя? Я тебе брат.

– Как? Ведь ты старше на...

– Твой дед и мой дед – родные братья. Сын твоего деда – твой отец, сын моего деда – мой. Мы братья.

Странно, ты об этом никогда не задумывался. Брат...

Ты брал грех на душу. Предлагал водку вопреки предупреждению его супруги, преподавательницы математики, не покупать ему спиртное. Но ведь всё равно он будет пить этот проклятый одеколон! К тому же тебе доставляло удовольствие сделать для него приятное: воспоминания детства ещё не истёрлись в памяти.

Ты хорошо помнил и его деда. Бородатая голова, как кудель шерсти, – с палкой в руке, согбенный, но быстрый, он входил в ворота с походным мешком за плечами, частый гость в вашем доме. Он выманивал у тебя щенка. Сидел у печи в рубахе навыпуск, опираясь о посох и улыбаясь, о чём-то ласково баял. Вернее, он говорил, что смастерит собачью будку, под яблоней, где тень, настелет в будку солому; собаку будет кормить варёной картошкой, мясным бульоном. В ответ ты улыбался и не понимал, чего хочет дедушка. А он говорил ещё о самосвале, железном, зелёном, ручку которого крутишь, у него поднимается кузов, этот самосвал ведь дорожке пса... Он опять щурил глаза и ни о чём не спрашивал, а ты только хихикал, живо представляя яблоню, будку под ней и чью-то собаку ...и дед, наверное, думал, что ты мал да хитёр. Но если б до тебя дошло, чего он хочет, ты бы всё равно не отдал ему, пусть даже

за самосвал, своего дружка, щенка немецкой овчарки. Хотя сейчас понимаешь, как нужна, как недоступна была в деревне на ту пору такая собака.

– Как зарплата? – спрашивал ты у Самата.

Вы шли в сторону шоссе, за которым простиралось Камское водохранилище.

– Колхоз разграбили, платят гроши, и те с опозданием на три года. Вон наши деньги! Он обернулся и вяло махнул рукой в сторону околицы, где на новых площадях возвышались коттеджи местного начальства.

– Сжечь их к чёрту!

– Посадят...

– Как живут двойняшки Зинатулла и Зайнетдин?

Вспоминалась картинка, словно из доброй сказки: опушка леса, два деревенских малыша собрали для малыша из города полную банку земляники, поднесли: «Ешь» – смотрели и улыбались.

– А ещё Рафаэль, братья Нурислам, Хайдар, Камиль?

– Зайнетдин умер, – отвечал Самат. – Рафаэль погиб. Мешал палкой жидкий битум, опора ушла из-под ног, опрокинулся прямо в чан. Да... Нурислам отсидел за драку, пьёт где-то. Весной приезжает за рыбой. Хайдар в городе. Камиль построил дворец на берегу Камы. Сегодня идём к ним, тебя ждут...

Все перечисленные – твои братья. Камиль – младший, Хайдар ровесник, с ним ты закапывал в прибрежную глину человеческий череп. Тогда, в семидесятом, стояла страшная засуха, горели леса, погибали посевы. Местный старец сказал: на берегу, под старым кладбищем, валяется череп. Пока его не придадут земле, дождя не будет.

Череп вы нашли и закопали. Но дождя так и не случилось. В то лето погибло много лесов по всей России.

Взяв в магазине водки, вы прошли к берегу Камы. Самат налил, выпил, понюхал голову воблы.

– Одеколон крепче, – сказал он, морщась, – с него душистый кайф.

Прибрежные волны, набухая на отмели, буро мутили глину. Вдали, за штрихами водяных бликов, кильватерной колонной шли суда.

– Погоди, а Горка жив?

Три русских двора стояли на отшибе деревни Именьково. Горка-книгочей от туда. Большеголовый рахит с крошечными ступнями, вечно обутом в калоши, он будто и сейчас стоит у клуба: широко раздвинув носки и заплетаясь языком от возбуждения, вещает о возможностях «Мессершмитта 109 Е», о подвиге линкора «Бисмарк»:

– Если б не попадание торпеды в руль, он бы все английские линкоры переколбасил! – Горка чуть не плачет. – «Бисмарк» развернулся и один в атаку на целый флот пошёл!..

– Горка-то? – сказал Самат. – Жив.

И тут ты вспомнил о Криксе, великолепном Криксе.

– Рамазан... – Спартак помолчал. – Он повесился.

– Как?!

Спартак глянул в даль.

– Дочь у него в городе забеременела. Ушёл в лес и пропал. Нашли его на третий день. На осине.

– Слушай, это невозможно... Это, ё-моё, национальная потеря!..

Долго молчали.

– Я был на кладбище, деда искал, твоего деда. Там у входа могила девушки. Кто она?

Новое кладбище, которое тянулось вдоль обрыва, густо заросло сиренью, особенно в середине. Приходилось телом наваливаться на кусты и просто подтягиваться, зависая над землёй. Могилы ты не нашёл. Выходя, обратил внимание на серый камень у самых ворот, на весёлом солнечном пятачке. В камень была ввинчена овальная цветная фотокарточка, забранная в стекло. С фотокарточки смотрела красивая девушка. Русые волосы и очень выразительные на фоне муравы и листьев зелёные глаза. Очень живые, очень зелёные, мерцающие изумрудной глубиной. Казалось, что они играют на солнце тем же натуральным бле-

ском, что и живая листва. Ты смотрел на фото с глубокой грустью, печалью очарованья. И не верилось, что этой девушки уже нет, тем более что она – под землёй, вот здесь, у твоих ног, – та, что смотрит на тебя таким живым взором.

По датам ей едва исполнилось девятнадцать.

– Это могила, которая у входа? – спросил Самат. – Та же история. Внебрачная беременность. Не выдержала позора.

– Она тоже – как Рамазан?..

– Нет. Отравилась. Умирала у матери на руках.

Самат посмотрел на тебя выцветшими глазами, в которых ещё мерцал огонёк вашего отживающего рода:

– Кстати, она тоже твоя сестра.

Тело обдало нежным жаром. Снова ожил в памяти мягкий овал лица и эти живо глядящие на мураву глаза. Сестра...

### 3

Может быть, правы те, кто стонет с телеэкранов, зовёт? Они зовут в жизнь, и убийственный взгляд с подиума – как самоутверждение? Разве они будут пить яд? Нет! И правильно сделают.

Но Рамазан, эта девушка, семь девиц... Семь изнасилованных стрельцами сестёр погубили себя в озере на окраине Казани, там их могила. Туда ходят тысячи людей. И почти каждый задаётся вопросом: как смогли разом? И никто не смалодушничал перед смертью – ведь девочки! Не меньшим ли самоутверждением веет от этого семикратного взгляда из прошлого?

С Камы потянул ветер. Вдали, по черте берега в опустившихся сумерках зажигались костры. А затем такие же костры вспыхнули на потемневшем горизонте, где угадывался фарватер, – много костров; загорелись в несколько этажей, двигались вправо и влево, мигали, будто о чём-то напоминали нам, живущим...